
Борис ЕВСЕЕВ

РАССКАЗЫ

ИЗДЁВОЧНЫЙ СЛУГА

На Васильевском острове близ биржи в квартире у трактирщика Карла Цедера можно видеть курioзный фонарь, который охотникам показывать будут ежедневно по вечерам с начала до исходу 9 часа, а за смотрение сего фонаря каждая персонa платит имее по 10 копеек... Охотникам объявляется, что оный фонарь продан быть имее.

Выйдя на безлюдную ночную улицу и лихо проехавшись по декабрьской наморози, приземистый человек в черном морском бушлатике, припомнив словечки из только что украденного старинного объявления, улыбнулся.

«И объява — в жилу. Правда, переделывать ее надо. А вообще, для хорошего балагана не волшебный фонарь — другой реквизит нужен!»

Свернув трубочкой объявление, наклеенное на пивной картон, поддернув висающую на плече парижскую матерчатую торбу с чем-то громоздким, приземистый уже осторожней, с оглядкой потопал на автобусную остановку.

Посмеюн

Рим его звали, Рим! Грубо-кабанья черная с рыжинкой щетина на подбородке при поворотах головы колко взблескивала, ежик редких волос не скрывал мелких ямок и горбиков черепа, серо-стальные глаза то мертво останавливались, то начинали быстро вращаться. Но самое главное — вывернутые наружу ноздри. Они жили своей отдельной жизнью: когда надо, встречных-поперечных пугали, когда надо, детской своей беззащитностью притягивали. Уф-ф! Научился все ж таки кой-чему, продавая утюги с торшеррами! В том числе — из-за коротких ног — незаметно подниматься на носки, а при обнаружении опасности прятать неправдоподобно белые, изящные, как у молодой девушки, кисти рук в карманы бушлатика или — по сезону — куртки-плащовки.

Имя и вид его вызывали безостановочный смех. Рима это, однако, не угнетало. Скорее придавало радостной упругой злости. Утешал себя:

— Лучше самому смеяться и разрешать другим, чем хлюпать носом! Постарею — ржать перестану.

Но с годами дурносмешество не проходило. «Наказание мне, что ли, сверху спущено? Или с головой что-то не так?» — спрашивал себя часто.

Однако продолжал смеяться: всегда, над всем! Во всем серьезном или страшном видел лишь повод для глумливого хохота. Капельками ошпаренной, сбитой с панталыку души вылетал этот смех! Комочками слизи и сладкой боли падал в фаянсовую раковину. Но в общем и целом выходило так: насмешки над сущим наполняли его жизненной силой по самое горлышко. Горлышко булькало, жизнь текла, тоска скрывалась

Борис Евсеев — прозаик, поэт, лауреат и финалист многих литературных премий. Живет в Москве.

за дверью. А еще собственный смех — быстро ухающий, при конце чуть подвизгивающий — хорошо развлекал. Заражал такой смех и других.

Один шибко грамотный человек, с которым лоб в лоб столкнулись в библиотеке, где Риму сперва не хотели даже показывать, а потом дали-таки почитать старинные комедии, выказывая дружелюбие, сказал:

— Ты, голуба, капля в каплю, «издевичный» слуга! Как словно из восемнадцатого столетия к нам прибыл.

Слова шибко грамотного Рим запомнил с ходу. Стал над словами этими, записанными на клочке бумаги, кружить вороном, вглядываться в них стал и внюхиваться. Нюхом эти слова рассекречены и были: пахли они вялым виноградом и еще чем-то уксусным, женско-порочным, неотступно манящим!

До колик и судорог захотелось Риму «переодеться» в век восемнадцатый! Даже не переодеться — завернуться в него с головы до пят, как в офицерскую епанчу. Чтобы получить наконец — вонзилось в него вдруг сладкой дрожью — великую разбойную свободу!

Полгода назад, надышавшись пьесками петровского времени, а потом и переводными австро-немецкими, решил Рим поменять судьбу. Не без труда, а поступил-таки в Смеховой народный театр «Шумигам», или как звали его завсегдатаи: Театр двойников на Лиговке. Когда-то Рим учился в Москве, в ГИТИСе. Взяли туда случайно, как въедливо заметил худосочный председатель комиссии — «исключительно за сходство с Костей Райкиным». Но институт вскоре был заброшен, театральные дела похерены: Рим переехал в Питер. Зачем? Чего-то морского, пиратского захотелось. Правда, тогда же и к морю поостыл, устроился коммивояжером. Работа нудная, канительная. Но даже она дурносмешества не убила: семьи — нет, родственников — нуль. Никого нигде! Ржач, да и только!

Роли в Театре двойников, прозванного так завсегдатаями из-за того, что в нем по прихоти дирекции собрали сразу нескольких актеров, сильно напоминавших Калягина, Гафта, Певцова, а теперь и младшего Райкина, достались Риму мелкие: принеси — подай! Двойники иногда собирались вместе и после настоящего спектакля показывали в полутьме свой, пародийный. Один катался по сцене мячиком-Калягиным. Другой подгавкивал и читал сочные эпиграммки про Михалковых, как Гафт. Пел с подхрипом под Высоцкого актер, схожий с Певцовым. А сам Рим откалывал смешные штуки, как Райкин-младший. Сюжет спектакля двойников был прост: кто переживет всех?

— Я, братцы! — тихо вскрикивал калягинский двойник.

— Йа, Йа, Фасылий Иванович, — передразнивал его двойник Певцова.

— Пшли вон, мухоеды, — отбивался от назойливых лобызаний псевдо-Гафт.

— Труф-туф-туф! Труффальдино, Уффальдино! — бесстыдно-насмешливо орал Рим, дерзко перекирвя Райкина-младшего.

Про ночные — без зрителей — спектакли узнала дирекция. Пародировать знаменитых актеров строго-настрога запретили.

Прошло полгода. До роли издечного слуги добраться Риму так и не удалось. Но это не обескуражило. Повторяя чужие понравившиеся тексты, веселил он себя за кулисами, как мог. В театре ему жутко нравилось. Хотя денег — две консервные банки плюс дыра от баранки.

Тут, однако, сломалось и это мнимое благополучие. Однажды в театре произошел случай: толстенькому, до смешного грустному и трогательно похожему на Калягина актеру в спортивный кубок, необходимый по ходу спектакля, влили какой-то гадо-сти. Актер, шатаясь, со сцены ушел и через десять минут за кулисами умер. Виновных не нашли. Как-то дружно определились — и следовательно это подтвердил — актер уже явился на спектакль пьяным и отравленным.

Рим, видевший, как одна из актрис долила чего-то в спортивный кубок, сперва стоявший за кулисами на специальной подставке, а потом вынесенный на сцену, на дознании все вопросы прерывал грубым смехом и ничего следовательно про актрису не сказал. Но на отпевании не сдержался, произнес что-то едкое. И тут же — правда, в кулак — прыснул со смеху.

— Эт-та ш-шта за посмеюн тут у нас завелся?

Подкравшийся сзади директор театра, клопоча слюнями, обрушил на Рима весь свой управленческий гнев и на следующий день актера-двойника с треском из «Шумигама» выпер.

Рим и Зенобия

В отместку Рим забрал с собой старинную объяву, хранившуюся в крохотном театральном музее. А вдобавок унес разбитый, не используемый в спектаклях волшебный фонарь. Поставил фонарь дома на видном месте и стал чинить. У фонаря имелась история. Рим прочел ее там же, в театре, на валявшейся под креслом табличке. Волшебный фонарь оказался точной копией того, который приобрел падуанец Джованни Полени для кабинета физики своего Падуанского университета в 1753 году.

— Подумаешь, падуанский падуанец, макаронский итальянец, — притворно негодовал Рим, — велика важность — «особенный образец магического фонаря»! Обосраться и не жить: а то мы не видели восьмиугольных башенок из ореха. Ну, установили фонарь на лист железа. Ну, запихнули внутрь зеркало и масляную лампу. А мы зеркало сдвинем! И лампу тоже. Начнем их двумя железными стержнями торчащими шевелить. Пусть фонарь нам послужит. Отремантируем и в дело пустим! Ишь ты: объективчик-то плоско-выпуклый в латунную трубку засунули, денежек на сплав не пожалели. Умора...

Но вскоре Рим из-за неожиданной мысли починку забросил:

— Чего с фонарем возиться? Безо всякого фонаря издевательским слугой прямо в жизни можно заделаться!

Из театра его турнули в декабре, а запоздалая мысль явилась весной, которая втихаря уже слонялась по питерским переулкам.

— Помогать кому-то, даже прислуживать! — размышлял, шлепая босыми пятками по линолеуму, повеселевший от весны и ознобистых мыслей Рим. — К этому вся жизнь наша и катится! Так чего ж тогда этой уморительной жизни сторониться?

Подруга Зенобия, из чернокожих — та, что подлила толстенькому, схожему с грустным Калягиным актеру какой-то гадости и вытуренная вслед за Римом из театра, — мысль его одобрила. Жить Зенобию он пригласил к себе в квартиру через неделю после ухода из театра. Встретил на улице и пригласил. Во все свои дела и мысли пока ее не посвящал, но кое-что, конечно, рассказал.

Отдыхая от «Шумигама», он еще раз перечел несколько старинных пьес, подобрал в секонд-хенде подходящую клоунскую одежку и попытался наняться шутом или слугой в богатые дома-усадьбы.

В основном — гнали. Правда, в одной из каменноостровских резиденций богатенький буратинчик вроде заинтересовался. Каменный остров, этот рай на земле, с лиственными вековыми деревьями, с необычными, современными, но не оскорбляющими душу светильниками, притягивал его, кроме прочего, вольным водным простором и резкой отграниченностью от остального Питера. Рим понимал: «обычному» богатею сюда не пролезть — стоимость «квадратов» сумасшедшая.

Буратинчик безносый вышел сам, отстранил загородившего дорогу охранника, тронул черную повязку, закрывавшую носовое отсутствие и, выслушав Рима, с хрипотцой выдавил:

- Так ты шутяра или издевичный слуга?
- Говоря по правде, издевичный.
- Это как при Петре Первом, што ли?
- Ну да... Вот изволите видеть!

Рим упал на одно колено, выхватил их кармана плащовки тубетейку, потом сделал кувырок вперед, оказался за спиной у буратинчика, снова вскочил на ноги и ловко напялил тубетейку на голову охраннику:

- Гляди, какой урюк у тебя тут созрел! Умора...

Буратинчик захохотал: охранник и впрямь стал похож на толстогубого и толстощекого азиата.

Не давая буратинчику опомниться, Рим выхватил из-за пазухи живого ужа и поднес к своему рту. Фокусам с глотанием змей он обучился еще в Москве. Делая крупные глотательные движения, опускал ужа потихоньку себе за пазуху.

- Ну, теперь одна твоя домашняя змея — у меня за пазухой.

Буратинчик даже крикнул. Сам того не зная, Рим, видно, попал в самую точку.

Богатенький-пребогатенький позвал Рима в дом, налил вискаря, стал расспрашивать про жите-бытье. Тут Рим возьми да и ляпни: про Театр двойников и про актера, который, умирая, смешно корчился за кулисами.

Это буратинчику не понравилось. Видать, что-то напомнило. Богатенький омрачился.

- Ты вот што: приходи завтра. А пока — держи пятихатку за представление.

Назавтра Рима в усадьбу не пустили, сказали: Орест Никифорович уехал, и больше к нему приходить не следует.

Кручинился Рим недолго, потому как вновь его осенило:

— Что если прислуживать кому-то за харч вдвоем? Помнишь румба такая была — «Чай вдвоем». А тут — «Харч вдвоем». Тоже театр ведь! Ты, да я, да мы с тобой. Такое, думаю, и не слишком богатые осият. Туда ведь все катится, туда! Или ты услужаешь, или — тебе. Ничего, кроме этого, не осталось. Пока что мы с тобой услужать будем. А там, глядишь, и нам услужать начнут. Так или нет, черненькая?

Зенобия мысль одобрила.

* * *

Эпоха катила мимо Рима и мимо Зенобии на инвалидках, квадроциклах, на «ауди» и «порше». Сменялись декорации, уходили старые проверенные питерские режиссеры, приходили режиссеры скоробогатые, наводняла улицы и театры новая суматошно-бздюхливая массовка. Время двигалось неравномерно, ткань его становилась рваной, лоскутной. Но время и приманивало разными разностями: туго набитыми кошельками, заполошными новостями и проч. Время растягивалось в длину и ширину, липло к зубам и деснам, как полуразжеванная ириска-тянучка, которая одна только с детских лет Рима из равновесия и выводила.

Но в сердцевине своей время не менялось: так же, как при Петре Алексеевиче, играло фейерверками, сверкало женскими голыми попками, мелькало дурацкими колпаками, погромыхивало пушечками: и потешными, и всамделишными.

* * *

Тут — внезапная перемена. Рима нанял слугой мутный сосед по фамилии Дрекун. По виду совершеннейшая вошь, правда, вместо трех пар ног — две тоненькие палки. Вшиво-плешивый, еще и шепелявый, Дрекун вызвал Рима в коридор и объяснил, что к чему.

Вернувшись к себе, Рим, не так чтобы сильно, но прилично после каждой фразы ухохатываясь, объявил:

— Будем с тобой опять коммивояжеры! Ах-ха-ха, ах-ха, ах-ха! Короче, сбытчиками услуг. Ну, вздрогни! Продавать услуги по дезинфекции от тараканов питерских домов-квартир будем. Причем сбытчиками будем не телефонными, а разъездными. Ах-ха-ха. Ах-ха. В эсэмэсочные игры уже никто не верит.

Смеялся Рим заразительно, широко открывая рот. Смеялось, казалось, и все его тело.

— Иа дома буду жить, — насупилась вдруг Зенобия, — тараканы меня еще в Африке задолбали.

— Ладно, живи, — расщедрился Рим, — бумажки будешь нам оформлять, ты ведь у нас африканочка грамотная?

— А то. Если хочешь знать, иа в Питер марксизм-ленинизм понимать приехала.

— Ну и сиди себе дома, марксистка ты моя африканская...

— Зашибись! — поблагодарила актриса Зенобия. И ловко, на раз-два-три, стащила через голову зеленое платье. Темное, голо-оливковое тело заблестало на изгибе торшерными огоньками.

Через минуту Рим пристроил Зенобию на уголке дивана и, ритмично двигаясь, стал вполголоса повторять одну и ту же частушку, слышанную от своего деда-парторга, певшего ее в моменты наивысшей ненависти к позабытому многими, но не дедом Никите Хрущеву:

Прощай, скука, прощай, грусть,
Я на Фурцевой женюсь!
Буду тискать сиски я
Самые марксистские!

Подхватив частушку на лету, Зенобия тут же решила внести ее в свой конспект по марксизму-ленинизму, уже лет десять валявшийся на самом дне ее плетеной африканской корзинки типа African Zulu basket.

* * *

На следующий день Дрекун стал Рима учить-наставлять:

— Подъезжаем, берем задаток наличными. У целой организации, я договорюсь. Только гляди не испорти дело!.. Значит так: я вхожу в медицинском скафандре. Они передают предоплату. Вдруг ты у меня выхватываешь бабосы — и деру! Только пути отхода заранее просчитай. А я им: был ассистент как ассистент, а тут, блин, ограбил!

Риму такая перелицовка действительности не нравилась. Но все-таки один раз попробовали. Получалось не очень. Рим, конечно, убежал, но Дрекуну надавали по шее. И пообещали: если денег не вернет — через сутки утопят в Малой Невке. Риму хотелось другого: ласковых издевок и острых подколов, а не воровства и рубливки!

Тогда Дрекун придумал действовать иначе. Назначал встречи темным личностям в светло-кофейных костюмах и перед тем, как сделать очередное сногшибательное предложение, небрежно кивал на Рима, стоящего поодаль навтыжку:

— Мой служанец примет у вас деньги на предварительные расходы.

Однажды Рим поправил Дрекуна:

— Не служанец и не служник. Издевочный слуга я, слышь?

— Да им это все едино. И потом — какая тут разница?

- А такая. Издевки я кидаю всем: бедным, богатым, тебе, всему миру.
- А че б тебе над обезьяной своей не поиздеваться? — стал заводиться Дрекун.
- Животное обезьяна издевательств не заслуживает. Ты б лучше, Дрекун, над собой поиздевался. Тогда и узнал бы, что почем.
- Это че это я должен над собой издеваться? У меня, может, в банке — лям зеленых.
- Нет, ты попробуй поучись издевичному искусству. Совсем оно непростое.
- С обезьяной живешь, а меня учишь?
- Зенобия не обезьяна.
- Да макака стопудово. И дети макаками будут.
- Рим хотел врезать Дрекуну как следует. Но, подумав, сказал:
- От плешивого павиана слышу. Ты глянь на себя в зеркало!
- Дрекун от неожиданности надолго смолк.

Выговорившись, решили все переделать на иной манер. Но сложности пандемии сильно делу препятствовали. Тогда и пришла в голову Риму спасительная идея: не надо никого обманывать — деньги отдадут сами! За смех над ковидом. Лично ему — сообразил — не так разбойная свобода нужна, как поиздеваться над этим самым ковидом. Здесь-то они с Дрекуном и разругались окончательно. В отместку Дрекун стал пощипывать Зенобию. Та по-марксистски сурово, но и по-африкански бурно его пока что отшивала. Но вот именно — пока! Рим заметил: колышет, колышет грудью африканская саванна! «Сама вытоптанная, как степь, а все аспирантку марксистскую из себя корчит!» Заметить-то он заметил, но виду не подал. Да и не до того стало.

* * *

В одичавшем от безлюдья антикафе «Зеленый патруль» Рим столкнулся лоб в лоб с адвокатом Тимохой. Знал его и раньше, но на длительное время позабыл-позабросил. Тимоха куда как преуспел. Но не чванился, а рассказал историю. Про сбор пожертвований в пользу германских ученых. И про то, что ученые эти занялись сбором сведений о причинах возникновения гнусного ковида и с ним связанной паники.

- А тебе-то че?
- Да за помощью они ко мне обратились. Могу и тебя к этому делу пристроить.
- Толком скажи, не догоняю пока.
- Ну, слушай. Коллегия адвокатов Германии создала комиссию. А та сделала вывод. Он хоть и предварительный, а сильно на правду смахивает. Вывод такой: ковидная пандемия — преступление против человечества. И у нее конкретные организаторы имеются. А раз есть организаторы, значит, их можно обвинить, привлечь и тэ дэ и тэ пэ. Причем заслуживают они именно уголовного наказания в соответствии с параграфом семь Международного уголовного кодекса.
- Обосраться и не жить. А дальше?
- Чем дальше в лес — тем больше дров. Нужно разоблачить преступников, устроивших ковид-панику! Занимается этим в Германии доктор Фультимх, адвокат с тридцатилетним стажем. Судебные дела против корпораций мошенников — его конек. Он, знаешь ли, крупнейшие дела против Deutsche Bank, Volkswagen, Kuhne + Nagel выигрывал. Райнер Фультимх говорит: все случаи коррупции и мошенничества, с которыми сталкивался, просто цветочки в сравнении с разором и уроном, которые принес коронакризис. Поэтому организаторы этого мирового зла должны понести уголовную ответственность И обязательно возместить ущерб гражданам, пострадавшим от болезни и паники. А поскольку здесь явно замешаны крупнейшие мировые компании, нужно от них защититься политически и юридически. А то, не дай бог, через пару лет еще какой-нибудь глобальный кризис запустят.

- Опять марксизм-ленинизм на нас наезжает!
 - Не марксизм и не соцленинизм. А новый бескризисный миропорядок.
 - Это как? Че-то не пойму.
 - А тебе, знаешь ли, и не надо. Сделаешь свою работу, денежки на счет капнут — и плавай, моряк, по океану!
 - Ну и какая тут моя роль?
 - Нужны пожертвования и тэ дэ и тэ пэ. Сбором их должны заняться не блатари, не пройдохи, а более-менее честные люди.
 - Как это боль-мень честные?
 - А так. Не осталось абсолютно честных на земляной нашей груше!
 - Тут врешь, Тимоха. Есть такие люди! И на хрена ты шарик наш грушей земной называешь?
 - Давно, знаешь ли, земля наша форму груши начала принимать. Вот этим бы научному сообществу и заняться. А мы в ковиде, как осы в меду, залипли!
 - Ладно. Уговорил почти. А тогда другое скажи: че, в Германии своих денег не осталось?
 - Дело-то общее. Да и нам с тобой от собранных пожертвований кое-что останется...
- Мысль посадить всех, кто спровоцировал ковидный кризис, запала Риму в душу крепко. Но потом неслышимо назад выпала. Да и германское направление ума вызвало смутное беспокойство. Подумав, Рим сам решил организовать — с жертвованиями или без, это как получится — смеховое расследование российских проявлений международного кризиса.

Смеховое, смеховое!

Где был кайф — там будет горе...

Спел кто-то внутри Рима драматическим тенором, похожим на тенорок профессора, признавшего его, Рима, похожим на Костю Райкина. Однако Рим оставил внутренний голос без внимания.

* * *

— Зенобия объявляет о независимости от Рима! — после краткой утренней любви заявила издевичному слуге оливковая марксистка. — Ухожу иа, — произнесла она на манер ослицы, — к великому Дрекуну иа ухожу.

Сперва Рим хотел как следует Зенобию отметить, но потом передумал и удерживать ее не стал. Гордо подхватив плетеную африканскую корзинку типа African Zulu basket, набитую конспектами и помадой, бывшая аспирантка поднялась на этаж выше и там в туманах влечений растворилась.

Тарабухтель

Рим начал работать сам, причем сразу по двум направлениям: по театральному и ковидному. Благо снова и в который раз перечитал старые австрийские пьески. Приблизился, так сказать, к европейскому направлению ума. Из этого направления вынес он одежку Гансворта и несколько его шуток, которые для издевательств над ковид-кризисом и применил. Заодно и отечественных рэперов стал пародировать, передвижной театр одного актера создавать начал. Назвал он свой театр неожиданно. Даже вывеску саморучно изготовил, продевел веревочку и на грудь подвесил: ТАРАБУХТЕЛЬ.

— Тарарамлю и бухчу! — покрикивал Рим в сквере имени канцлера Безбородко. Сквер на Полюстровском, между Пискаревским проспектом и Феодосийской улицей, где начал он свои выступления, представлял собой остатки сада, когда-то разбитого на даче любимца Павла Первого, графа, а потом светлейшего князя Александра Андреевича Безбородко. И хотя народу бывало там немного, место у Полюстрова пруда, названного так еще Петром Великим, Риму нравилось.

Был одет он в щегольскую бордошную жилетку и ботинки с бабочками, но имел в одежде и внешности также детали «петрушечные»: вымазанный женской помадой розовый нос и двцветную ало-зеленую шапку с кистями.

— Истязает ковид человеческий вид! Эта многоголовая гнида хочет стать во главе нашего вида! Но я сейчас колесо закручу, вирус этот обхохочу! От смеха даже вирусыдохнут, и слезы ваши вмиг обсохнут! — вспоминая уроки ГИТИСа, старался Рим и, не жалея ладоней, пробегал кувырками по скверу.

Когда собирались люди, начинал он выкрикивать бухтелки повеселей:

— Я Иван Тарабухтель! Слово мое поострей, чем немецкий фухтель! Попрошу сегодня деньжат у вас. Рубликов пять или десять, чтобы столько же словесных оплеух вам отвесить.

Освобожденные от учебы школьники, скинув маски, залиvisto свистели. Старикинегодующе трясли сединами. Полиция и росгвардия, разок-другой замедленно, как в кино, проплывшие мимо, его отчего-то не трогали. Ободренный равнодушием правоохранителей Рим заводил интермедию, взятую из стихов начала двадцатого века, но сильно переделанную:

На домах, словно тартинки,
Понатыканы картинки:
Раскоряченные бабы
И беременные крабы...

Медленно, словно ослабевая, Рим сажился после этих слов на асфальт.

А ковидная весна
Напрочь всех лишила сна! —

хватался Тарабухтель за сердце. Ему хлопали, иногда перебивали, иногда — тоже саркастически — отвечали. Один старикан, встрепанный, как подросток, и розовощекий, как девушка, примчавшийся в сквер на роликовой доске, даже проорал возмущенно стародавнюю эпиграмму:

Краснотой своей ливреи,
Демократством водки
Отличаются лакеи
Графа Безбородки!

— Это не тот Безбородко! Как вы смеете! — встряла в беседу худая, как смерть, старушка. — Первый граф Безбородко был другим. Ему не нужны были лакеи. Он с венесуэльским революционером встречался!

— Вот и довстречáкался! Вот и обкакался! А потом товарищ Жданов себя явил! И борьбой с Ахматовой свой рот осквернил, — подхватил внезапно выздоровевший Тарабухтель.

После смеха и даже легкого гогота зрителей Рим всегда выкрикивал одно и то же:

— А теперь — серьезно! Нужно унять преступников, запустивших ковид-спектакль, и показать кулак им грозно! Нужны пожертвования для германских ученых. Нашедших источник паники и этим весьма огорченных!

— Германия Германией! У нас должен состояться свой, российский разбор ковидища, — снова крикнул растрепанный старик, балансируя на доске.

— Чудище-ковидище — тра-ля-ля, чудище-ковидище — тра-ля-ля, — вдруг начала прыгать и смеяться девчушка с торчащими в стороны косичками. Весна брала свое, девчушке стало жарко, она расстегнула кофточку. Полненькая, смешливая, ямочки на щеках. Рим вдруг подумал: у него могла быть такая же дочка-девчушка. Но вспомнив знакомых баб, сразу понял: ни одна из них к деторождению не склонялась...

Собрав денежки, Рим возвращался в охолощенную Зенобией квартиру. Разлегшись прямо на полу, думал, не переставая, про девчушку с ямочками.

* * *

— Этот козел нам всю малину испортит! Пиндосы нам платят за дело: за то, чтоб мыслишки их мы здесь продвигали.

— Ну.

— Баранки гну. Нам нужно, чтобы все орало: Германия и Россия не там, где надо, зачинщиков ковида ищут. В другом месте надо искать их!

— Думаешь, у нас в Питере найдут?

— Лучше в Москве. За такую находку нам зелеными хорошо заплатят.

— А если не в России это дело слепили?

— Тебе, баклан, какая беда, кто, где и чего слепил? Взял свои денежки — и на юга. Если на кичу раньше не загремишь. Хотя на киче ты не был, чего и объяснять тебе.

— Так тут, Швандик, можно не на кичу, можно в другое место загреметь. Не хочу я с «конторой» иметь дела.

— Да не бойсь — пока то да се, мы уже внедрим в народ: ковид — чисто русское дело.

— А не пиндосы-америкосы тут первые?

— Америкосы не при делах. Зуб даю.

— Это потому ты так трындишь, что баксов у тебя полная пазуха. А мне всего сотку дал!

— Кончай гундеть. Пусть америкосы и сиволапые сами разбираются. Нам все фрэра по фигу.

— Ты прям ваххабит какой-то.

— Че? Щас дам в бошку, и год кончится. Сказано вешать все на наших, значит, повесим.

— Самим бы успеть свалить.

— На то собаке и ноги...

* * *

Через месяц, майским тепло-темным, еще не испорченным утром Рим вдыхал свободу у себя в Свечном переулке. Подходя к Лиговскому проспекту, задумался.

Выскочившая из-за угла машина ударила его резко, крепко. Рим упал на спину, ударился головой. Через неясный промежуток времени увидел: над ним наклонился плешивый Дрекун. Вроде и Зенобия мелькнула. Актрискино лицо слилось с темной, но сумочку типа African Zulu basket Рим узнал. Он хотел крикнуть сразу им обоим что-то едкое. Но речь кончилась. Дрекун и Зенобия тоже исчезли.

Туман и кровь под волосами на затылке. Боль адская в правом бедре. Рим попытался поднять голову, но лишь сильно стукнулся затылком об асфальт.

- Готов? — услышал он над собой.
- А то! И нам работы меньше.
- Добей его, баклан.
- И так подохнет.
- И то верно. Вишь? Глаза у него, как у рыбы, стекленеют.

Рим, однако, жил, видел, слышал. Про смерть не думал. Пока он дышал — ее не было. Думал он про Гансвурата и про пышные банты на ботинках. Про издевательских русских слуг думал. Потом про смех.

«Другой смех нужен. Не издевательский... Не хы-хы-хы, не кхе-кхе. Не ржачка, не гогот... А какой нужен? Как у девчухи? Наверно. Легкий нужен смех и ласковый. Нежно-звончатый. Говорящий о несбыточном, которое вполне может сбыться. Но не изде...»

Сирена «скорой» рассекла мысли надвое. Слова стали хлюпающими, забили рот, как огородные слизи, ловившиеся в детстве, и лишённые раковины. Сама прежняя жизнь сперва отдалилась, потом спеклась в некрупный уголек, стала остраняющей и потому — ненужной. Наступала жизнь новая, мягко-улыбчивая, сладко очеловеченная.

ОСЕННЕЕ БЕЗУМИЕ ПТИЦ

Месяц звонкого молодого льда, ноябрь-полузимник, ноябрь-солнцеворот — добежал до середины. Валя Йвшинский, еще в школе прозванный Гнездарем и прозвище это на себе полжизни таскавший, шел краем поселкового поля. Чуть вдали скрежетало шоссе. С утра никакой работы даже в бинокль не просматривалось. Ее, работы, в последний год вообще было мало: общее безденежье, скупердяйство, пандемия, то, другое, третье...

Валя решил добрести краем поля до лесной опушки — подсобрать грибков, благо здесь, в малодачных местах, они в ноябре еще встречались: опята, вешенки, иногда и подберезовик проглянет.

Вдалеке порхнула птица. По чертежу полета Валя тут же признал: чеглок!.. Птичья рать влекла его невероятно. Иной раз казалось: прежняя жизнь была легонькой, птичьей, хоть и наверняка короткой, навывлет простреленной. Сто раз Йвшинский на себя ругался и зарекался думать о птицах. На несколько дней походы в магазин, хлопоты по хозяйству и звонки женщин, которые все до одной звали его гуляй-Валя, холостого Йвшинского отвлекали. Ну, а полностью забывал он про птиц, думая про себя самого.

— Сельский компьютерщик! Гуляй-Валя! Это надо ж такое! — закидывал он узилицу светло-русую голову и до белизны сжимал тонкие, но цепкие, едва ли не стальные пальцы.

После тридцати захотелось Вале оставить Москву и вернуться в Подмосковье, «сесть на землю», «припасть к истокам». Мечтал стать лозознатцем, «бить» колодцы, рыть погреба, а пришлось заниматься тем же, что и после Бауманки: системными блоками, мышками-флешками. Иногда это смешило, но в последний год чаще стало раздражать. После острорежущего раздражения воспоминания о птицах вспыхивали с новой силой.

Начинались воспоминания, обычно со сладкого и приятного: низкая, не слишком покатая крыша сарая, молоденький ястребок, лежавший на боку с чуть свесившим-

ся вниз правым крылом. Был ястребок не ранен и не покалечен. Это Валя определил сразу. Чтобы насладиться прикосновением маховых птичьих перьев, Валя бережно просунул одну ладонь под ястребка, а другой поправил ему крыло. Никакого птичьего сопротивления он не почувствовал. Тогда Ившинский чуть покачал птицу на ладони. Был ястребок сильно длинней, но зато и уже Валиной, в те годы еще не изрезанной мелким техническим ремонтом ладони. Вдруг ястребок, как продернутый электро-током, встряхнулся, встал на лапки, резко вздрогнул и неожиданно — ошарашенный внезапно вернувшейся жизнью — свалился вниз. Не долетая до жухлой травы, заработал крыльями и полетел, шарахаясь из стороны в сторону меж сараями к лесу.

Однако после воспоминаний приятных всегда начинались досадные, терзающие душу. Валя не давал себе закрыть глаза, пальцами раздвигал веки, мотал головой, слегка на месте подпрыгивал, махал руками. Правда, потом все-таки глаза закрывал.

И всплывал в его непослушный мозг первый и единственный пернатый хищник, застреленный лет пятнадцать назад. Был это малый сокол, по-иному кобчик.

По роскошным чащобам юношеских своих лесов Валя гулял тогда с ружьем и собакой. Ему только-только исполнилось восемнадцать, но он уже представлял себя взятым охотником.

Первым же выстрелом он того кобчика с лесного кустарника снял, но найти не сумел. Не нашла его и беспородная серо-белая Найда, весело кувыркавшаяся в летней траве и понимавшая в охоте не сильней, чем хряк в апельсинах.

Сразу Валя птицу не нашел, а через три-четыре дня, гуляя один, без Найды — за дурашливость и глупость посадил ее на цепь, — малого кобца обнаружил. И что интересно: совсем рядом с тем местом, где подстрелил.

Кроме белых некрупных, но страшно проворных червей, на кобца никто не польстился. Червей было так много, что Валя, думавший прикинуть, сколько же их на самом деле, плюнул и побыстрей отступил в сторону. Но потом вернулся, захотел еще раз глянуть на кобца, но вместо этого сел в новеньких своих серовельветовых джинсах прямо в траву.

Мертвый кобец долго не шел из головы. Воспоминания о червях и птице так допекли, что с восемнадцати лет Валя никогда больше не охотился.

Вспомнив про кобца, Ившинский остановился и про грибки-грибочки мечтать перестал. Да и черт ли в них теперь, в этих грибах! Ему вдруг представилось собственное голое, покрытое гусиной кожей тело, еще в детстве проткнутое пригородным шпанюком по прозвищу Ляма пониже печени велосипедной спицей. Потом вдруг — и уже в который раз! — представилось: он — человек-птица. И при этом невыносимо похож на случайно попавшуюся интернетовскую картинку: сразу от локтевого сгиба расширялись остроперые крылья, на спине и на плечах шевелился нежный птичий пух, на пальцах рук выострились и удлиннились, а потом чуть загнулись когти, ноги стали тонкими цыпастыми лапками. И меж этих лапок — грубо и медленно, как маятник-шар, — начинал туда-сюда мотаться несоразмерно большой человеческий висюкан.

Валя и сам вдруг начинал раскачиваться, как маятник. Зацепившись за домашний турник, сперва вис на руках, потом, слегка чиркая о линолеум пятками, колыхал себя вперед-назад, назад-вперед. Тут руки мягко с турника обрывались, но Валя не падал кулем на пол, а, закрыв глаза, продолжал качаться маятником, пока его потихоньку, как плотный кухонный чад, не выносило в приоткрытую дверь на улицу.

Полет маятника в перьях был странен, дик: сильно шатало из стороны в сторону, но от земли далеко не отпускало. Боязливо разлепив веки и уже безо всяких шатаний низко над огородами, над невысоким штакетником, теплицами и проржавевшими коровьими цепями, то и дело мелькавшими на выпасах, плыл Валя за какой-то надоб-

ностью к затопленному водой песчаному карьере. Что было дальше — никогда не помнил. Помнил только манящий женский голос, из карьера доносившийся. В страхе открывал он глаза. И враз погружался в простое человеческое блаженство: рано, рано ему еще над землей летать!

После заплыва над огородами Валя всегда бежал к зеркалу. Мутненькое, оставшееся после матери трюмо отражало все что угодно: взъерошенные волосы, нос любопытно-острый, близко посаженные глаза, накрепко сжатые губы, худое, правда, вполне накачанное и отнюдь не птичье тело. Но никаких перепончатых крыльев, никаких цыпастых лапок-ножек не было и в помине!

Стоя теперь на краю поля, Валя осмотрелся. Ни души, опять один. От безлюдья, воспоминаний про инетовскую человекоптицу и съедаемого червями кобца Вале вдруг перехотелось жить. Напрочь, подчистую. Окончательно и бесповоротно!

Безрассудное желание кончить все и сразу мощно поволокло к Новой Ярославке: ближе, ближе, прямо к асфальтовому, чуть влажному от утреннего дождя, равноширокому полотну.

Сердце Валино моталось из стороны в сторону и стучалось о ребра: словно никак не могло усадить себя в седло крохотного, всю дорогу тарыхтящего и невпопад дзенькающего мопеда.

Валя хотел было броситься под первую попавшуюся машину, но вдруг понял: под первую попавшуюся — нельзя, недопустимо. Нужно выждать, нужно выбрать подходящую! За рулем не должен быть старик — тот от наезда на человека может враз очнуться. Не должно быть и молоденьких баб. Так завизжат — мертвого разбудят. Бабы постарше? А пожалуй. Но лучше бы кто-то из кинодралов, кто-нибудь из этой падали, «косящей» под художников или журналистов, за рулем оказался. Таких Ившинский вычислял сразу, потому как одного похожего чинушу из Минцифры, вполне годящегося на роль давителя людей — с модно-нависшей челкой, с пятнистой, словно обсыпанной сахарной пудрой, театральной бабочкой на шее, — хорошо знал.

Лучше всего, конечно, груженная фура. Та даже тормозить не станет. Или, по крайности, проехав сто-двести метров, соскочат с подножек по очереди два дальнобоя, подойдут, глянут и дружно сплюнут: сам под колеса кинулся, дурак!

— Нет, ты видал, Петро?

— Канаем быстрее отсюда.

И все, и в дальний путь, на долгие года.

Валя прищурился и еще раз обвел глазами дорогу. Он уже начал уставать, хотелось лечь на слегка примороженную траву, потом вернуться домой, легонько укунуть за ухо сидящую на цепи дуру Найду. Но при этом в сам дом, только наполовину отремонтированный, возвращаться не хотелось.

Глянув со вздохом на осенний лесок, пока хранящий внутри себя плотный сгусток биоизменений, происходящих у всех дикорастущих деревьев в холодное время года, Валя задумался. Сперва про весь лес, потом про некоторые отдельные деревья.

Ничего, что сбросили листья! Опавшая листва снимает с дерева груз, дает ему отдохнуть, подготовиться к зимней спячке, когда все жизненные процессы под корой — даже сокодвижение — приостанавливаются. Без листьев деревья расходуют намного меньше воды, не скапливают на ветках снег. Лучше им осенью, лучше!

Так бы, кажется, и человеку: счистил с себя летнюю показуху, все эти загары-магары, смыл грязь, смазал на теле припухлости от укусов гнуса, выкинул на помойку темные очки и наносник от солнца — и вдыхай, втягивай в себя осень! Ан нет! А почему? Неестественно стал жить человек. Так и учился бы у дерева уму-разуму.

«Сердце деревьев в их плодах», — сразу целой строкой подумалось Вале.

«Или умный рыхлый слой в центре древесного стебля все-таки важнее плодов?»

Оглядывая лес, Валя снова увидел птицу. Зрение у него было острое, может, даже острее, чем у пернатых. И с годами не тускнело, не гасло. Только слегка — по краям — выцветало, как бумажная картинка, прищипленная к стене булавкой-невидимкой.

Птица не летела — барахталась и кувыркалась в воздухе, как пьяная. Запускала себя то вниз, то вверх, то опять — неуклюже — к земле, то сильно кренясь, шарахалась куда-то вбок.

— Коршунец, первогодок! — вслух определил Валя.

И снова задумался.

А коршун-первогодок все продолжал ходить вверх-вниз, как сошедшая с ума рыже-бурая щетка с обломленной ручкой.

Тут Ившинский повел головой и увидел другую птицу, а за ней и третью. Другая и третья не летели — бежали к шоссе. Одна на бегу чуть взлетала. Другая, спотыкаясь, падая, кубарем скатывалась с небольших пригорков, словно умышленно выбирая их на своем пути.

«Чего это они?» — опешил Валя.

Коршунец тем временем упал камнем на землю.

Безотчетно подражая птицам, тоже по осени захотевшим себя убить, Валя и сам хотел было кинуться на землю, но коршунец почти тут же взлетел.

Теперь он уже не кувыркался, а, зависнув в воздухе и отвернув голову в сторону, дергал крыльями, распрямлял их, но никак не мог до конца распрямить.

— Шею ломаешь, обалдуй! — крикнул Валя, но коршунец его голоса не услышал.

Тогда Ившинский поднял с земли обломленную недавним ураганом ветку, чтобы шугануть тех двоих, что были уже рядом с шоссе, а заодно на замахе испугать коршунца. Но вдруг словно застыл.

Приостановился, замер и весь мир, потому что Валя вспомнил: так же выворачивал шею, крутился и дергал руками тронутый умом Никоша, который, несмотря на все предосторожности родни, как-то раз сломал-таки себе шею. Когда он ее сломал и умер, Валя-девятник ходил смотреть. Никошу прежнего — незлого, слюнявого — было жаль. А мертвого его тела — совсем нет!

— Зачем ходил? — упрекала тогда еще не окончательно слегшая мать. — Ишь, любопытный! Не смей раньше срока смерти в лицо заглядывать!

Валя встряхнулся, сделал несколько шагов вперед.

— Не надо, блин! — крикнул Ившинский птицам и тут же швырнул веткой в подбежавших к шоссе пернатых.

— И тебе — на! — сдернул он с головы плотный, но по осени уже не греющий картуз и крутящейся тарелочкой запустил в коршунца.

Тот краем глаза наверняка картуз засек, полет чуть выровнял и неуклюже опустился на ветку ближней ольхи.

Остановились и две другие птицы. Одна быстро исчезла в траве, другая, взлетев и неравномерно вздымая-опуская крылья, поплыла мимо леса, на север, в сторону Торбеева озера.

Почему подумалось: птица полетела к Торбееву — Валя не знал. Но при мысли о водной глади ему стало легче, лучше, даже подобие улыбки по губам скользнуло: вспомнилось давнее, незадачливо-смешное и, яшень-пень, невозвратное.

Он тогда поехал с Людкой-младшеклассницей кататься на лодке. Она сама позвала. Людке было лет двенадцать, и в четвертом классе она сидела уже третий год. Но зато преуспела во всем остальном. Людка посадила Валью на весла, а сама сразу полезла к нему в штаны. Решив чуть привстать, пошатнулась и кувырнулась в воду.

Была весна, холодно было. Когда, вынырнув, перевалил он не умеющую плавать Людку через борт, а потом причалил к берегу и попытался развести костер, чтобы согреться, все время смеялся.

А Людка, обижаясь, нервничала и без конца повторяла:

— Ты думаешь, я за этим? За этим? Дурак! Я просто спички у тебя в джинсах найти хотела. Закурить мне надо было!

— Ага, ага, — не переставая греться-смеяться, приговаривал Валя, — я ж и говорю, спички, блин, отсырели...

— Дурак, — окончательно определилась с тем, кто виноват в неожиданном купании, шустрая младшеклассница. — Ну и оставайся тут со своей лодкой!

Она молча отжала в кустах одежду и рысцой побежала на автобусную остановку...

Валя вдруг почувствовал: он стоит мокрый, как хлющ. Птицы безумные давно улети. Мокрым стоять было неудобно, но жить опять захотелось.

Ившинский разделся, скинул куртку и рубаху, стянул майку, обтерся ею, потом майку, впитавшую в себя не только дрожь и пот, но, казалось, и капли страха, затоптал ногой в неглубокую ямку, присыпал вырванной с корнем травой. После снова оделся и, дивясь остановленному именно им, Гнездарем, безумию птиц, пошел спрашивать работы туда, куда раньше идти никогда бы не решился: к лысому прорабу, в полностью построенный, но пока — Валя это знал точно — без налаженной компьютерной сети коттеджный поселок.

По дороге вдруг понял: все не так! Не он коршунца и двух бегущих по земле птиц остановил. Остановил тот, кто осенним безумием птиц и руководил, кто разумней человека.

«Высший разум? Высший антиразум?» — спросил себя Валя.

Отвечать себе он не стал. Но поправки во вновь открывшуюся страницу жизни, заполненную письменами и неясными закорючками, наподобие глаголицы, внес. Были поправки косвенными, но необходимо-нужными. Основная поправка была такая:

«Мы как те птицы. Только крылышки нам пообрезали. Или они сами, пока мы друг друга век за веком мочили, отсохли и обломались. Вот и маемся теперь в получеловеческом виде. Потому как полный человек — это человек с двумя видимыми или невидимыми крыльями!»

Смутившись от ненужных в подмосковной глухомани крамольных мыслей, Валя постарался скорей их забыть.

От неприсутствия мыслей не только в голове, но и на сердце посветлело.

Правда, длилось отсутствие мыслей недолго. Пришла нежданная веселость, привела, как голую бабу за руку, наслаждение от незрешных слов...

Стало ясно: это сами пернатые от внешнего толчка и какой-то порядочной встряски вдруг вернули себе острый птичий разумок! Заодно и ему, Вале, кой-чего вернули. Не дешевое и быстро выветриваемое базарное здравомыслие вернули, а разумную душу, шевелящуюся где-то чуть пониже яремной ямки. Остановившись, Валя приложил к обеим ключицам два свежесорванных калиновых листа. Сразу и мысли побежали попроще.

«Осеннее безумие птиц мне разум вернуло? Вернуло! Значит, все наоборот! Это не люди птицам, а птицы людям для примера и подражания посланы. А если даже не для примера, то уж точно для у斯拉ждения: глянул на птиц — водка и бабы побоку!»